

Библиотека Классической Литературы

ИВАН ТУРГЕНЕВ

Отцы и дети

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44
Т87

Серия «Библиотека всемирной литературы»

Оформление *Н. Ярусовой*

В оформлении суперобложки использованы фрагменты картин: Ярошенко Н. А. «Голова заключенного», 1878; Полонский Я. П. «Часть террасы дома в Спасском и Серка, собака Тургенева», 1881.

Серия «100 главных книг»

Оформление *Н. Ярусовой*

Тургенев, Иван Сергеевич.
Т87 Отцы и дети : [романы] / Иван Тургенев. — Москва :
Издательство «Э», 2017. — 640 с.

ISBN 978-5-699-49848-2 (Библиотека всемирной
литературы)

ISBN 978-5-699-96729-2 (100 главных книг)

И. С. Тургенев (1818—1883) — один из величайших писателей XIX века, тонкий стилист, знаток русской жизни, создатель образа «лишнего человека» в русской литературе, героя, который, несмотря на свои неординарные способности, не смог найти применение своим необычным качествам в обществе, и галереи образов «тургеневских девушек», до сих пор привлекающих читателя своей цельностью, женственностью.

В книгу включены три знаменитых романа писателя — «Рудин», «Накануне», «Отцы и дети».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-699-49848-2
(Библиотека всемирной литературы)
ISBN 978-5-699-96729-2
(100 главных книг)

© Оформление. ООО «Издательство
«Э», 2017

Содержание

И. С. Тургенев

Предисловие <к собранию романов
в издании 1880 г.>

6

Рудин. *Роман*

17

Накануне. *Роман*

183

Отцы и дети. *Роман*

383

ПРЕДИСЛОВИЕ
«К СОБРАНИЮ РОМАНОВ
В ИЗДАНИИ 1880 Г.»

Решившись в предстоящем издании поместить все написанные мною романы («Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым» и «Новь») в последовательном порядке, считаю излишним объяснить, в немногих словах, почему я это сделал. Мне хотелось дать тем из моих читателей, которые возьмут на себя труд прочесть эти шесть романов сподряд, возможно наглядно убедиться, насколько справедливы критики, упрекавшие меня в изменении однажды принятого направления, в отступничестве и т. п. Мне, напротив, кажется, что меня скорее можно упрекнуть в излишнем постоянстве и как бы прямолинейности направления. Автор «Рудина», написанного в 1855 году, и автор «Нови», написанной в 1876-м, является одним и тем же человеком. В течение всего этого времени я стремился, насколько хватило сил и умения, добросовестно и беспристрастно изобразить и воплотить в надлежащие типы и то, что Шекспир называет «the body and pressure of time»¹, и ту быстро изменяющуюся физиономию русских людей культурного слоя, который преимуществен-

¹ «Самый образ и давление времени». (Примеч. автора.)

но служит предметом моих наблюдений. Насколько это мне удалось — не мне судить; но смею думать, что читатели не усомнятся теперь в искренности и однородности моих стремлений.

Позволю себе прибавить несколько кратких замечаний о каждом из этих шести романов, замечаний, не лишенных, быть может, некоторого интереса.

«Рудин», написанный мною в деревне, в самый разгар Крымской кампании, имел успех чисто литературный не столько в самой редакции «Современника», где он был помещен, сколько вне ее. Помнится, покойный Некрасов, выслушав мое чтение, сказал мне: «Ты затеял что-то новое; но между нами, по секрету, скучен твой «Рудин». Правда, несколько недель спустя тот же самый Некрасов, говоря со мною о только что написанной им поэме «Саша», заметил, что «ты, мол, увидишь, я в ней до некоторой степени подражаю твоему «Рудину» — но ведь ты не рассердишься». Помню также, что меня очень изумило письмо Сеньковского (барона Брамбеуса), которого я чуждался, как вся тогдашняя молодая школа, и который отнесся к «Рудину» с великим сочувствием.

«Дворянское гнездо» имело самый большой успех, который когда-либо выпал мне на долю. Со времени появления этого романа я стал считаться в числе писателей, заслуживающих внимание публики.

Гораздо меньший успех имело «Накануне» — хотя ни один из моих романов не вызвал столько статей в журналах. (Самою выдающейся была, конечно,

статья Добролюбова.) Покойный Н. Ф. Павлов сильно раскритиковал меня — а другому, ныне также покойному критику, некоему Дарагану, дали даже обед по подписке в благодарность за весьма строгую статью о «Накануне», в которой он особенно настаивал на безнравственности главных действующих лиц. Появилось несколько эпиграмм; одна остроота особенно часто повторялась: мое произведение потому-де названо «Накануне», что оно вышло накануне хорошего романа.

Прошу позволения у читателей рассказать — именно по поводу этого «Накануне» — небольшой эпизод из моей литературной жизни.

Почти весь 55-й год (так же как предшествовавшие три года) я безвыездно провел в своей деревне, во Мценском уезде Орловской губернии. Из числа моих соседей самым мне близким человеком был некто Василий Каратеев, молодой помещик двадцати пяти лет. Каратеев был романтик, энтузиаст, большой любитель литературы и музыки, одаренный притом своеобразным юмором, влюбчивый, впечатлительный и прямой. Он воспитывался в Московском университете и жил в деревне у своего отца, на которого каждые три года находила хандра вроде сумасшествия. У Каратеева была сестра — очень замечательное существо, — которая тоже кончила сумасшествием. Все эти лица уже давно умерли; оттого я так свободно говорю о них. Каратеев заставлял себя заниматься хозяйством, в котором ровно ничего не смыслил, и особенно любил чтение да разговоры с людьми ему симпатичными. Таких людей оказывалось немного. Соседям он не нравился

за вольнодумство и насмешливый язык; к тому же они боялись знакомить его со своими дочерьми и женами, так как за ним упрочилась репутация, — в сущности, вовсе им не заслуженная, — репутация опасного волокиты. Ко мне он ездил часто — и его посещения доставляли мне почти единственное развлечение и удовольствие в тогдашнюю для меня не слишком веселую пору.

Когда настала Крымская война и произошел рекрутский набор на дворянство, названный ополчением, не жаловавшие Каратеева дворяне нашего уезда согласились, как говорится, упечь его — и выбрали его в офицеры этого самого ополчения. Узнав о своем назначении, Каратеев приехал ко мне. Меня тотчас поразил его расстроенный и встревоженный вид. Первым его словом было: «Я отсюда не вернусь; я этого не вынесу; я умру там». Здоровьем он похвалиться не мог; грудь у него постоянно болела, и сложения он был слабого. Хотя я сам боялся за него всех трудностей похода, однако я постарался рассеять его мрачные предчувствия и начал уверять его, что не пройдет и года — и мы снова сойдемся в нашем захолустье, будем опять видеться, толковать и спорить по-прежнему. Но он упорно настаивал на своем — и после довольно продолжительной прогулки в моем саду вдруг обратился ко мне с следующими словами: «У меня есть до вас просьба. Вы знаете, что я провел несколько лет в Москве — но вы не знаете, что со мной произошла там история, которая возбудила во мне желание рассказать ее — и самому себе и другим. Я попытался это сделать; но я должен был убедиться, что у меня нет никакого литературного таланта — и

все дело разрешилось тем, что я написал эту тетрадку, которую я передаю в ваши руки». Сказавши это, он вынул из кармана небольшую тетрадку, страниц пятнадцать. «Так как я уверен, — продолжал он, — несмотря на все ваши дружеские утешения, что я не вернусь из Крыма, то будьте так добры, возьмите эти наброски и сделайте из них что-нибудь, чтоб бы не пропало бесследно, как пропаду я!» Я стал было отказываться, но, видя, что мой отказ его огорчает, дал ему слово исполнить его волю и в тот же вечер по отъезде Каратеева пробежал оставленную им тетрадку. В ней беглыми штрихами было намечено то, что составило потом содержание «Накануне». Рассказ, впрочем, не был доведен до конца и обрывался круто. Каратеев во время своего пребывания в Москве влюбился в одну девушку, которая отвечала ему взаимностью; но, познакомившись с болгаринном Катрановым (лицом, как я узнал впоследствии, некогда весьма известным и до сих пор не забытым на своей родине) — полюбила его и уехала с ним в Болгарию, где он вскоре умер. История этой любви была передана искренне — хотя неумело. Каратеев действительно не рожден был литератором. Одна только сцена, именно: поездка в Царицыно, была набросана довольно живо — и я в моем романе сохранил ее главные черты. Правда, в то время в моей голове вращались другие образы: я собирался писать «Рудина»; но та задача, которую я потом постарался выполнить в «Накануне», изредка возникала передо мною. Фигура главной героини, Елены, тогда еще нового типа в русской жизни, довольно ясно обрисовывалась в моем воображении; но недоставало героя, такого лица,

которому Елена, при ее еще смутном, хотя сильном стремлении к свободе, могла предаться. Прочтя тетрадку Каратеева, я невольно воскликнул: «Вот тот герой, которого я искал!» Между тогдашними русскими такого еще не было. Когда на следующий день я увидел Каратеева, я не только подтвердил ему мое решение исполнить его просьбу — но и поблагодарил его за то, что он вывел меня из затруднения и внес луч света в мои, еще до тех пор темные, соображения и измышления. Каратеев этому обрадовался и, повторив еще раз: «Не дайте этому всему умереть», уехал на службу в Крым, откуда он, к глубокому моему сожалению, не вернулся. Предчувствия его сбылись. Он умер от тифа на стоянке близ Гнилого моря, где было помещено — в землянках — наше орловское ополчение, не выдавшее во время войны ни одного неприятеля и тем не менее потерявшее от различных болезней около половины своих людей. Я, однако, отложил исполнение своего обещания: я занялся другой работой; кончивши «Рудина», я принялся за «Дворянское гнездо»; и только зимою, с 58-го на 59-й год, очутившись снова в той же деревне и в той же обстановке, как и во время моего знакомства с Каратеевым, я почувствовал, что уснувшие впечатления зашевелились; я отыскал, я перечел его тетрадку; отступившие на второй план образы выступили снова на первый — и я тотчас же принялся за перо. Некоторым из моих знакомых тогда же стало известно все то, что я теперь рассказал; но я считаю своей обязанностью ныне, при окончательном издании моих романов, поделиться этим и с публикой и тем запла-

тить хотя позднюю дань памяти моего бедного молодого друга.

И вот каким образом болгарин сделался героем моего романа. А гг. критики дружно упрекали меня в деланности и безжизненности этого лица, удивились моей странной затее выбрать именно болгарина, спрашивали: «Почему? С какой стати? Какой смысл?» Ларчик просто открывается — но я не почел тогда нужным входить в дальнейшие объяснения.

Об «Отцах и детях», кажется, нет нужды говорить подробно: этому роману посвящена целая глава моих «Литературных и житейских воспоминаний». Замечу одно: вот уже семнадцать лет прошло со времени появления «Отцов и детей», а, сколько можно судить, взгляд критики на это произведение все еще не установился — и не далее как в прошлом году я по поводу Базарова мог прочесть в одном журнале, что я не что иное, как «башибузук, добивающий не им раненных». Правда, это сказал тот самый г. Антонович, который вскоре после появления «Отцов и детей» утверждал, что г. Аскоченский предвосхитил содержание моего романа.

«Дым» хотя успех имел довольно значительный, однако большое возбудил против меня негодование. Особенно сильны были упреки в недостатке патриотизма, в оскорблении родного края и т. п. Опять появились эпиграммы. Сам Ф. И. Тютчев, дружбой которого я всегда гордился и горжусь доныне, счел нужным написать стихотворение, в котором оплакивал ложную дорогу, избранную мною. Оказалось, что я одинаково, хотя с различных точек зрения, оскор-

бил и правую и левую сторону нашей читающей публики. Я несколько усомнился в самом себе и умолк на некоторое время.

Что же касается до «Нови» — то, я полагаю, не для чего настаивать на том, каким дружным осуждением было встречено это мое последнее, столь трудно доставшееся мне произведение. За исключением двух, трех отзывов — писанных, не печатных — я ни от кого не слышал ничего, кроме хулы. Сперва уверяли, что я все это выдумал; что, живя почти постоянно за границей, я потерял всякое понимание русской жизни, русского человека; что одно лишь мелкое самолюбие да склонность к популярничанью водили моим пером; один журналист поспешил объяснить, что всякий порядочный человек должен непременно плюнуть на мою книгу и тут же попать ее ногами¹. А потом, после известного процесса, оправдавшего большую часть того, что называли моими выдумками, судьи мои принялись толковать другое: будто я сам чуть ли не участвовал в тех неблагонамеренных замыслах и уж, конечно, знал о них, ибо в противном случае — как бы я мог предвидеть и предсказать заранее?! и т. д. и т. д. Все это потом пришло понемногу в равновесие; и во время моего последнего пребывания в России я мог убедиться, что, не отступая от некоторых, несомненно справедливых обвинений, главным образом основанных на

¹ Один рецензент пошел еще далее. По поводу некоторых статей о переводах «Нови» — появившихся за границей, он произнес следующее изречение: «Пускай иностранцы о нем статьи пишут; а мы даже плюнуть на него не хотим». Экая скупость, подумаешь! (Примеч. автора.)

моем удалении от родины, большинство моих соотечественников не считает мой последний роман вполне бесполезным, или вредным, или достойным одного презрения.

Так и оправдались на мне слова покойного Белинского, которые он часто любил повторять: «Всякий человек рано или поздно попадает на свою полочку».

«Was ist der langen Rede kurzer Sinn?» — К чему клонится вся эта речь? — спросит, пожалуй, иной читатель. Во-первых, — к оправданию того намерения, которое было выражено мною в первых же строках настоящего предисловия; а во-вторых, к следующему выводу, внушенному мне многолетним опытом: критика наша, особенно в последнее время, не может предъявить притязания на непогрешимость — и тот писатель, кто слушается *ее одной*, подвергается опасности испортить свое дарование. Главный ее грех состоит в том, что она несвободна. Не могу кстати не высказать своего мнения о «бессознательном и сознательном творчестве», о «предвзятых идеях и тенденциях», о «пользе объективности, непосредственности и наивности» — обо всех этих «жалких» словах, которые, из каких бы авторитетных уст они ни исходили, всегда казались мне общими местами, ходячей риторической монетой, которая потому только не считается за фальшивую, что ее слишком многие принимают за настоящую. Всякий писатель, *не лишенный таланта* (это, конечно, первое условие), — всякий писатель, говорю, старается прежде всего верно и живо воспроизводить впечатления, вынесенные им из собственной и чужой жизни, всякий читатель име-

ет право судить, насколько он в этом успел и где ошибся; но кто имеет право указывать ему, какие именно впечатления годятся в литературу и какие — нет? Коли он правдив — значит, он прав; а коли у него нет таланта — никакая «объективность» ему не поможет. У нас теперь развелись сочинители, которые сами почитают себя «бессознательными творцами» — и выбирают всё «жизненные» сюжеты; а между тем насквозь проникнуты именно этой злополучной «тенденцией». Всем известно изречение: *поэт мыслит образами*; это изречение совершенно неоспоримо и верно; но на каком основании вы, его критик и судья, позволяете ему образно воспроизводить картину природы, что ли, народную жизнь, цельную натуру (вот еще *жалкое* слово!); а коснись он чего-нибудь смутного, психологически сложного, даже болезненного — особенно если это не частный факт, а выдвинуто из глубины недр своих тою же самой народной, общественной жизнью — вы кричите: стой! Это никуда не годится, это рефлексия, предвзятая идея, это политика! публицистика! Вы утверждаете, что у публициста и у поэта задачи разные... Нет! Они могут быть совершенно одинаковы у обоих; только публицист смотрит на них глазами публициста, а поэт — глазами поэта. В деле искусства вопрос: как? — важнее вопроса: что? Если все отвергаемое вами — *образом*, заметьте: *образом* — ложится в душу писателя, — то с какой стати вы заподозриваете его намерения, почему выталкиваете его вон из того храма, где на разубранных алтарях восседают жрецы «бессознательного» искусства — на алтарях, перед которыми курится фимиам, часто зажженный собственными ру-